

**АНДРЕ
ЖИД
ЛИОН
ФРЕЙХТВАНГЕР**

**МОСКВА
СТАЛИНСКАЯ**



Андре Жид
Лион Фейхтвангер
Москва Сталинская
Серия «Приключения
иностранца в России»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9756324
Москва Сталинская: «ТД Алгоритм»; Москва; 2015
ISBN 978-5-906789-28-0

Аннотация

В издание включены две нашумевшие в свое время книги известных западных писателей: А. Жид «Возвращение в СССР», изданная в 1936 году и переведенная лишь в 1989-м, и знаменитая книга Л. Фейхтвангера «Москва 1937». Сопоставление этих полемизирующих друг с другом работ представляет особый интерес: это свидетельства авторитетных и талантливых людей, их впечатления о событиях трудного и противоречивого периода жизни нашей страны.

Содержание

Андре Жид	5
Страницы из дневника	5
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Москва Сталинская

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Андре Жид

Страницы из дневника

1929 год

Любовь к истине – не потребность в достоверности, и крайне неосторожно смешивать одно с другим.

Истину любишь тем больше, чем яснее сознаешь, что никогда не достигнешь абсолютного, хотя на поиски его толкает нас истина неполноценная.

Сколько раз мне приходилось замечать, что религиозные люди, в особенности католики, тем слабее тянутся к этой глупой (однако единственно доступной) истине, чем сильнее они убеждены в обладании истиной высшей, подчинившей себе осязаемый мир и наше о нем представление. Да и понятно: тот не производит наблюдений над молнией, кто верит, что она послана богом, тот не следит ни за прорастанием зерна, ни за метаморфозами насекомого, кто во всех явлениях природы видит только непрерывное чудо и слепое подчинение вечному вмешательству божества.

Скептицизм – отправная точка науки; против него и восстает вера.

Я знавал человека, который погружался в черную меланхолию при одной мысли, что должен время от времени ме-

нять ботинки, одежду, шляпу, белье, галстук. Дело здесь совсем не в скупости, но в муке не видеть ничего прочного, определенного, абсолютного, на что можно было бы опереться.

Перечел «Orientales» Гюго. Вновь испытываешь то же восхищение, что и в детстве; достаточно мне один раз их перечесть, чтобы знать наизусть. Какая поразительная, чисто ораторская изобретательность! Здесь все: сила и изящество, улыбка и пафос рыданий. Что за богатство приемов! Как высок поэтический подъем! Какое знание стиха, как свободно он им владеет! Такая мастерская легкость дается только при полной замороженности словом и его звучанием. Мысль у него подчинена слову, фразе, образу; вот почему Гюго (совсем не такой простец, каким его выставляют) всегда предпочитал чувства и мысли наиболее пошлые, совершенно не заслуживавшие его внимания, – чтобы отдаться все существом своим наслаждению их поведать, плодить и размножать.

С обычной для него отменной учтивостью С. посылает мне два кусочка амбры, содержащих еле видимых насекомых, и небольшую статью Мориса Трэмбли (по поводу открытия им пресноводных полипов). Меня восхищает эта брошюра. Списываю: «Он знает, когда сомнение ему выгодно и необходимо, и умеет вовремя усомниться в собственных выводах. Он всегда стремится видеть вещи такими, каковы они в действительности, а не такими, какими он желал

бы их видеть». И добавляет: «В этом смысле Реомюр (ибо здесь речь идет именно о нем) оказал большую услугу науке, чем Бюффон».

Совершенно случайно и не помышляя об астрологии, я открыл, что как раз 21 ноября – в день моего рождения – земля переходит из знака Скорпиона в знак Стрельца.

Так моя ли вина в том, что по воле вашего же бога я родился между двух созвездий – плод смешения двух рас, двух стран, двух исповеданий?

Когда мы ощущаем в себе страшную силу и порывистость желаний, то относим ее не к самому себе, а к предмету наших желаний, который благодаря ей и влечет нас к себе. И тогда он влечет нас уже неотразимо до такой степени, что мы уже отказываемся понимать, почему другой человек одаряет такой же неотразимостью другую группу объектов, к которой его влечет с той же силой и порывистостью желаний. Кто с самого начала в этом не убедится, пусть лучше помолчит, когда речь пойдет о половом вопросе. Если вопрос заранее возникает в форме ответа, можно прямо сказать, что его и не ставили. И думается мне, причина мистического обожания кроется в том, что чары божества (именуемые у мистиков атрибутами), по самому своему существу требующие поклонения ему, в действительности являются проекцией их собственного рвения.

Читаю «Крепкий ветер» Ричарда Хьюза. Странная книга: будь я в состоянии крепче связать ее с личностью автора

и понять, чем вызвана потребность ее написать, она, несомненно, привела бы меня в восторг. А вдруг это только игра, необыкновенно ловко задуманная, в которой автор остается победителем, однако, не завоевав моего сердца. Всякая книга занимает меня лишь в том случае, если я в самом деле почувствую, что она родилась из настоящей потребности, и если эта потребность разбудит во мне ответное эхо. Теперь многие авторы пишут неплохие книги, но они с тем же успехом могли бы написать и другие. Я не ощущаю незримой связи между ними и их творениями, да и сами они меня нисколько не интересуют; они навсегда останутся литераторами, они прислушиваются не к своему демону (у них его и нет), а к вкусам публики. Они приноравливаются к тому, что есть, и это их ничуть не стесняет – ведь они не чувствуют, что стесняют других.

1930 год

Я верю, что их мир – мир воображаемый, но иначе, чем лучшим, представить себе не могу.

Иначе говоря: их мир (мир благодати и т. д.) был бы лучшим, если бы не был только воображаемым.

Люди сами убеждают себя во всем и верят – кто во что горазд. А потом свои умозрительные построения называют высшей правдой. Так как же она может быть иной, если верят в нее, как в высшую правду? Да и в какую другую, как не в высшую правду, можно верить?

А вдруг «бесценная жемчужина», ради которой человек лишает себя всех благ, окажется фальшивой?..

Не все ли равно, раз он сам того не знает?

«Проблемы», волновавшие человечество, не разрешив которых, казалось, невозможно жить, постепенно теряют прежний интерес, и не потому, что решение найдено, а потому, что жизнь отходит от них. Стоит им потерять злободневность, и они умирают, совершенно незаметно, без агонии, просто – отмирают.

Возрожденный томизм и статьи Маритэна будут иметь лишь историческую ценность; сомневаюсь, что кто другой, кроме археолога, ими заинтересуется.

Ясно: С. любит в Ницше его агонию. Исцелись Ницше – он отвернулся бы он него. Как он носился со мной, считая меня удрученным страдальцем, надеясь сыграть заманчивую роль утешителя! Он ластился ко мне, как кошка.

Однажды, сидя вечером у Р., мы остолбенели, услышав его заявление, что он может быть дружен только с женщинами. Конечно, в этом признании немало гордости: он любит копаться, жалеть и соболезновать. Все бы шло хорошо, если бы в нем была сильна потребность доставлять счастье. Но суть в ином: любит он самое горе, скорбь, и в этом усматривает долг христианина. В счастье он видит раздухотворение; вот почему он чисто интуитивно отстраняется от Моцарта. Бесплотность изумительного искусства Моцарта, глубочайшую его проникновенность, господство разума

над страданием и радостью, уничтожающее всякую болезненность страдания (то, что С. счел бы искупительной добродетелью), для Моцарта являющегося лишь темно-фиолетовой полосой радуги, нарисованной его гением, он воспринимает лишь постольку, поскольку она его не стесняет.

Перечел «Глазами Запада» в превосходном переводе Нееля. Мастерски написанная книга; но в ней слишком чувствуется напряженная работа; избыток добросовестности Конрада (если можно так выразиться) – в длиннотах описаний. Чувствуешь, как где-то, в глубине книги, скользит увертливая ирония, но хочется, чтобы она была еще легче и забавнее. Конрад словно отдыхает на ней и снова становится растянутым и многословным. В общем, книга необыкновенно удачна, но в ней не хватает непринужденности. Не знаешь, чем восхищаться: искусством сюжета, композицией, смелостью столь широкого замысла, спокойствием изложения или остроумием развязки. Но читатель, закрыв книгу, невольно скажет автору: «Теперь недурно и отдохнуть».

Сильно заинтересован открытым мною родством «Глазами Запада» с «Лордом Джимом». (Жалею, что не поговорил об этом с Конрадом.) Герой совершает непоследовательность и, чтобы выкупить ее, закладывает свою жизнь. Ибо как раз непоследовательности имеют в жизни наибольшие последствия. «Но разве можно это уничтожить?» Во всей нашей литературе не найти патетичней романа; романа, который в такой степени ниспровергал бы правило Буало, что

«герой должен проходить через всю драму или роман таким, каким он был вначале».

Пагубное, плачевное влияние Барреса. Нет более злощастного воспитателя, чем он, и все, на чем лежит печать его влияния, – при смерти или уже смердит. Достоинства его как художника чудовищно раздуты. Разве не находишь уже в Шатобриане все его лучшие элементы? Его «Дневник» – предел для него, и с этой стороны он представляет громадный интерес. Его тяга к смерти, к небытию, его азиатчина; погоня за популярностью, гласностью, принимаемая им за любовь к славе; его нелюбознательность; избранные им боги. Но превыше всего возмущает меня жеманность, дряблая красавица некоторых его фраз, на которых почиет дух Мими Пенсон...

Нахожу на столе пришедшее в мое отсутствие приложение к «Нувель журне»: «От Ренана к Жаку Ривьеру» («Дилетантизм и аморализм»).

Эти книги – из того же теста, что и Массис: так же рьяно восстают они против всего некаатолического. Но вот что я там вычитал: «Не настало ли время, открыв в последний раз замечательную поэму „Фауст“, прокомментированную Ренаном, поразмыслить над скрытым в ней уроком?».

А Массис писал мне в письме, полученном месяц тому назад в Рокбрэне:

«Книгу Барбэ д'Оревилли о Гёте я прочел много лет назад; удовлетворяя ваше любопытство, должен признаться,

что нахожу его суждения великолепными и целиком под ними подписываюсь. Бенжамен Констан, с присущей ему проницательностью, сказал то же самое; он назвал Гёте неостроумным Вольтером».

Дальше следовали две страницы, исписанные красивым почерком; но тон их совсем не тот, каким Массис всегда со мной говорил и который, кстати сказать, не производил на меня никакого впечатления. Что же ему ответить? Сказать: «Любезный Массис, вы написали бы мне совсем иначе, знай вы, как я отличаюсь от того, каким... знай вы, что самый тон ваш, прежде всего, слишком подозрителен, чтобы меня взволновать»... Нет! Какой смысл? Мы не можем столкнуться, и не столкнемся. Но все же мне очень хотелось послать ему отрывок из кардинала Ньюмана, процитированный Гриерсоном:

«Мы можем испытывать величайшее отвращение к Милтону и Гиббону, как к личностям, можем решительно отвергать, тенденцию, проскальзывающую на каждой странице их писаний, – дух, вечно в них живущий; но они таковы, и мы не можем отсечь их от английской литературы, с которой они неразрывно связаны; не можем отрицать их могущества; не можем заменить их произведений другими; не можем даже очистить их творчество от того, что должно быть оттуда изгнано. Оба они – великие английские писатели, каждый по-своему ненавидел католическую церковь: оба они – создания божии, гордые и строптивые; оба исключительно даровиты.

Мы должны принимать вещи такими, каковы они есть, или вовсе их не принимать».

Но в обычаях Массиса и иже с ним – отрицать всякую ценность за теми, кого они не могут к себе приблизить, и приближать к себе тех, чью ценность они не в состоянии отрицать, заранее решив, что все добропрекрасное обязательно, по долгу службы является католическим.

Из любопытства отыскал в «Дневнике» Бенжамена Констанана места, относящиеся к Гёте. Некоторые из них, посвященные первым встречам, по правде сказать, довольно непочтительны, во вкусе Массиса. Но затем откапываю:

«Он полон ума, остроумия, глубины, новых идей».

«Я не знаю в целом мире человека, который был бы так же умен и обладал такой же тонкостью, силой и разносторонностью, как Гёте».

«Гёте – мировой ум и, может быть, пока единственный в мире гений такого неопределенного жанра, как поэзия, где все и всегда только неоконченные наброски».

И наконец, в письме к графине де Нассау от 21 января 1804 года:

«Гёте и Виланд... Это – люди необычайного ума, особенно Гёте».

Совесь вместо добросовестности.

Последние дни сдружился с Попом. В «Критических опытах» читаю: «Эти издревле известные, нехитрые правила – сама природа, неподвижная, но упорядоченная. Природа

свободна, но обуздана, однако, своими собственными, раз и навсегда установленными законами».

Отлично, лучше не скажешь (столь разумная истина и так разумно высказанная)... Ничего – более антипоэтического (но это не важно).

В полном восторге от «Послания Элоизы к Абелару» Попа. Мое уважение к нему растет по мере того, как я с ним знакоюсь, и почему не сознаться, что его поэзия, перегруженная содержанием, волнует меня теперь несравненно сильнее, чем мутные извержения какого-нибудь Шелли, который заставляет меня где-то витать, оставив неудовлетворенной слишком важную часть моего «я».

Мориак. Этюды о Мольере и Руссо.

Скорей искусны, чем справедливы.

Тяжесть Истины портит чувствительную пружину весов.

Всюду и всегда он находит то, чего искал, и только то, что хотел найти.

«Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел», т. е. «Ты бы не нашел меня там, если бы ты меня туда не поместил».

Французская литература гораздо более старается признавать и изображать человечество вообще, чем человека в частности. Ах, если бы Бэкона взамен Декарта! Но картезианство не было обеспокоено мыслью «У каждого свой нрав», и в конечном счете у него было мало любознательности. Так называемые чистые науки предпочитались наукам естественным. Бюффон – и тот плохой наблюдатель.

Мысль о том, что надо идти от простого к сложному, что можно строить выводы дедуктивно; обманчивая вера в то, что созданное умом равноценно многосложности природы; что конкретное можно вывести из абстрактного...

Лансон в прекрасной работе о влиянии картезианства приводит удивительное признание Монтескье:

«Я видел, как частные случаи, словно сами собой, совпадали с предложенными мной законами... Когда я раскрыл эти законы, все, что я искал, предстало передо мной». Значит, он искал лишь то, что было заранее им найдено. Потрясающая ограниченность. А наряду с этим – восхитительная фраза Клода Бернара, не помню где мною записанная; поэтому привожу ее заведомо неточно, расширяя ее смысл: «Исследователь должен гнаться за искомым, не забывая следить за тем, чего он не ищет; то, что он увидит неожиданно, не должно захватить его врасплох». Но картезианец не допускает возможности быть захваченным врасплох. Иначе говоря, он не допускает для себя возможности чему-нибудь научиться.

Из письма М. Ар.:

«Вчера вечером прочел в „Горе“ Мишле: „они хохочут над Ксерксом, влюбленным в платан“, четверть часа спустя – У Дона „Ксеркса странная лидийская любовь – платан“».

«Это тем более любопытно, – добавляет М. Ар., – что в тексте Геродота нет и намек на любовь».

А с другой стороны, Мишле не мог знать Дона. Где же

источник, откуда оба черпали?

Чванливость всегда сочетается с глупостью. Многие плохие писатели современности потому самодовольны, что они не способны понять всего, что выше их, оценить по заслугам великих писателей прошлого.

Не считаться с самим собой в течение дней, недель, месяцев. Потерять себя из виду. Идти туннелем в надежде увидеть за ним неизведанную страну. Боюсь, как бы слишком долгая работа сознания не связала чересчур логично будущее с прошлым, не помешала бы прошлому стать будущим. Превращения возможны только ночью, во сне; не заснув в куколке, гусеница не проснется мотыльком.

Мне важно не самому попасть в рай, а привести другого. Невыносимо то счастье, которым не с кем поделиться...

А что тогда сказать о счастье, обретенном за счет другого?

Торная дорога, конечно, всегда надежней. Но много дичи на ней не спугнешь.

Это Баррес завел такую моду. Его потребность всюду, без конца отыскивать назидание, «урок» – мне просто невыносима. Положение вассала, принижающее дух. Мы учимся у великих мастеров только тогда, когда они погружают нас в нечто вроде любовного экстаза. Те, что всюду ищут выгоды, подобны проституткам, которые, прежде чем отдаться, спрашивают: «Сколько заплатишь?».

Я хочу ощутить аромат каждого цветка, словно это лето для меня – последнее.

Рыбы, умирая, переворачиваются брюхом вверх и всплывают на поверхность: таков их способ падать.

Больше всего я ненавижу перевернутые цитаты. Так можно заставить писателя сказать все, что угодно. Максанс, взваливая на меня ответственность за анекдот из «Фальшивомонетчиков» (который он, кстати, полностью извращает, сказав: «Мне рассказал этот анекдот один русский писатель», – не значит ли это, что он не читал книги и что его мнение основывается на слухах?), напоминает мне Ломброзо, который по «Неумелому стекольщику» Бодлера заключил о жестокости поэта: не заставлял ли Бодлер стекольщиков, – говорит Ломброзо, – подниматься на его мансарду, чтобы тут же выгнать их вон, расколотив вдребезги их товар за то, что у них не было розовых стекол?

Но из его заявления я привожу следующее:

«Ницше – враг мой, трогательный для меня тем, что даже в его отказе чувствуется страдание». Да, это верно; и то же самое – С.: они упрекают меня в безмятежности. Счастье, достигнутое не их путем, кажется им величайшим преступлением или, по меньшей мере, величайшей духовной скудостью.

Эм и m-ll Z. говорят о больницах, о безобразных тамошних злоупотреблениях, о скверной кормежке больных, о беззакониях, кумовстве и шантаже, которому подчас подвергаются несчастные больные со стороны сиделок. Однако раскрыть эти преступления значит – сыграть на руку «левым».

И об этом помалкивают. И когда встречаешь в народе ужас перед больницей, он кажется – увы! – больше чем справедливым.

Помню, однажды я захотел навестить свою племянницу незадолго до ее конца, нанял авто.

– На улицу Буало, в лечебницу, – приказал я шоферу.

Тот спрашивает:

– Какой номер?

– Не знаю. Вы сами должны знать. Это – частная лечебница.

Тогда, повернувшись ко мне, он сказал, и в голосе его слышалось все: ненависть, презрение, насмешка, горечь.

– Мы знаем только Ларибуазьер.

Это невинное слово, произнесенное по-деревенски, нараспев, прозвучало похоронным звоном.

– Да полно, – ответил я ему, – сдохнуть везде одинаково можно: что в частной больнице, что в государственной...

Но его восклицания у меня по спине мурашки забегали.

М. Н. очень умен; чувствуется, что проблемы свои он подобрал по дороге. Он их не выносил и не родил в муках.

Мне стоит большого усилия убедить себя, что я теперь в возрасте тех, кто казался мне дряхлым, когда я был молодым.

О кровосмесительном характере теорий Барреса. По его мнению, нельзя, невозможно любить людей иной крови.

Баррес (я читаю теперь с ожесточенной усидчивостью вто-

рой том его «Дневников»), видимо, обеспокоен тем, что отец Шопена происходит из Нанта. (Я писал об этом несколько страниц; нужно их только найти и доразвить.) Он отмечает факт, чтобы тотчас о нем забыть. Как он ловко сам себя изобличает! То же самое и о Клоде Желэ, великом лотарингце.

Упорство, с каким он отстаивает абсурд, – вот что, может быть, больше всего и трогает в Барресе.

Но чтобы лианообразная мысль его могла вытянуться, ей необходима подпорка.

«...закон человеческого производства. Мы знаем, что энергия индивидуума есть не что иное, как сумма душ его покойников, и что она получается только благодаря непрерывности земного влияния».

И наивно добавляет:

«Вот где одна из основных идей, почти достаточных для оплодотворения ума, так часто возможно их применение». И действительно, вся работа его мысли заключалась в применении этой теории к отдельным случаям.

Нельзя твердо сказать, что эта теория ошибочна, но, как все теории, она, по прошествии определенного времени и сыграв раз навсегда определенную роль в прогрессе человечества, станет располагать к праздности и всячески тормозить его дальнейшее развитие.

И вдруг – поразительное признание:

«Лотарингия – могу ли я сказать со всей искренностью, что я ее люблю?..» Что он действительно любит, так это То-

ледо, Венецию, Константинополь, Азию.

«...Но она проникает в не принадлежащую ей жизнь мою и, может быть, завладевает ею. Не знаю, люблю ли я ее; но, войдя в мое существо через страдание, она стала одной из причин моего развития».

Лучше не скажешь. Он проявил здесь исключительную проницательность. И далее – на стр. 215:

«Моя любовь к Лотарингии досталась мне нелегко. В Лотарингии масштабы всегда ограничены. В десять, двадцать, тридцать лет я чувствовал себя так, как в ссылке. Я не переставал мечтать о Востоке. Мне всегда казалось, что в этих краях я люблю лишь землю мертвецов, кладбище, сновидения, места призраков, тайны и т. д.».

И еще: «Вначале она мне не нравилась. Я полюбил ее, лишь поняв, что и у нее есть мертвецы». Как будто их нет в каждой стране! «Затем это ответ на вопрос: чего ради?».

Необходимость искусственно подогревать интерес к ложному образу рождается у Барреса из глубокого сознания собственного оскудения. У него не встретишь реальной насущной проблемы. Ему нужно изобретать; без выдумки ему нечего было бы сказать. Отсюда – острое ощущение небытия, пустоты, смерти; потребность «довольствоваться малым».

Перечел с глубокой радостью первую книгу «Поэзия и правда» по-немецки. Попробовал в шестой или седьмой раз (по меньшей мере) осилить «Так говорил Заратустра».

Немыслимо. Я не выношу тона этой книги. И мой восторг перед Ницше не заставит меня претерпеть до конца этот тон. В конце концов, мне кажется, что он перестарался: книга ничего не прибавляет к его славе. Я постоянно чувствую в нем зависть к Христу; назойливое желание дать миру книгу, равную Евангелию. Если «Так говорил Заратустра» и более известна, чем все остальные книги Ницше, то это только потому, что это, в сущности, роман. Но в силу этого она может удовлетворить вкусы самого низшего разряда читателей – тех, кому еще необходим миф. А я... как раз люблю Ницше за его ненависть к вымыслу.

«Сцены будущей жизни», которые я дочитываю, не дают мне никакого удовлетворения. Несколько слов предисловия заставили меня ожидать большего. Если американизм восторжествует и если позднее, после его триумфа, снова взять эту книгу, – боюсь, как бы она не показалась детским лепетом. Высший индивидуализм должен мечтать о стандартизации массы. Нужно лишь сожалеть, что Америка останавливается на первых шагах. Да останавливается ли? Благодаря ей человечество начинает вглядываться в новые проблемы, развиваться под новым небом. Под обеззвездным небом? – Нет, под небом, звезды которого мы не сумели еще разглядеть.

Я полон уважения к «Демону юга» Бурже и считаю, что большое место, занимаемое им в литературе, принадлежит ему по праву. Книга эта совсем не так вяло написана, как я

предполагал. В его работе нет внезапных срывов, психологических ошибок; замечания всегда верны и иногда удивительно разумны. Но когда, оставив на время «Демона юга», я принимаюсь за Гёте, сразу видишь (ни к чему и сравнивать, чтобы это увидеть), как высоко над холмом Бурже вздымается вершина истинного Парнаса. Он не принадлежит к величественной горной цепи, вершины которой благодаря вечному снегу всегда нечеловечески обнажены. Конечно, он счастлив и тем, что раскрывает перед нами пахотные земли, но я не думаю, что урожай с них может быть всегда съедобен. Аппетит на такие продукты проходит всегда вместе с эпохой; утилитарное искусство недолговечно, и как только оно перестает приносить пользу, оно вызывает лишь исторический интерес. Даже «серьезный» тон его книги вызывает улыбку, а отсутствие иронии к самому себе быстро вызовет и уже вызывает иронию у читателя. Ничто так не ветшает, как серьезные книги. Ни Мольер, ни Сервантес, ни даже Паскаль – не серьезны. Они величественны. Если бы «Провинциальные письма» были серьезны, никто бы их в руки не взял. И как раз серьезная сторона творчества Боссюэта больше не имеет хождения. Да, думается мне, – через двадцать (от силы – через пятьдесят) лет Бурже безнадежно устареет.

Д-р М. находил вполне естественным выражение, теперь такое избитое: «общий паралитик». Невозможно сразу подыскать примеры, чтобы подчеркнуть нелепость этого выражения; я спросил его, можно ли сказать в таком случае:

«перемежающийся малярик», – «скоротечный чахоточный», «кишечный туберкулезник».

Докончил выписанную мною очень интересную и убедительную книгу о болезни Ж.-Ж. Руссо. Автор все сводит к задержанию мочи; отсюда – постепенное отравление крови и т. д.

Помню я, – когда родился Р. «R»., сиделка пришла к отцу и объявила, что ребенок «криво сикает».

– Лишь бы думал прямо, – воскликнул М., может быть, с большей долей юмора, чем благоразумия.

П., который подозрителен не тем, что плохо понимает мои писания, а тем, что слишком любезно к ним относится, высказал мне свое негодование по поводу той непочтительности, с какой я говорю в «Возвращении с озера Чад» о «Смерти волка». Он сказал мне, что все домашние животные ревут и визжат, когда их режут; но что будь я охотник, я был бы поражен молчаливой агонией диких животных. И так он довел меня до того, что я пожалел, зачем написал эти строки.

Нет, конечно, я не могу принять предустановленной гармонии, как ее понимал Бернард; но я верю, что все стремится к известному гармоническому порядку по той простой причине, что все хотя бы в малой степени негармоничное нежизненно; таким образом возмещения, размещения и т. д. восстанавливают равновесие.

Ни один народ не обладал таким чувством и пониманием гармонии, как греки. Гармония индивидуума, нравов, общи-

ны. Именно из потребности к гармонии (потребности разума и, в равной мере, инстинкта) уранизму было предоставлено право гражданства. Я постарался показать это в «Коридоне». Книгу эту поймут позднее, после того как поймут, что тревога, охватившая наше общество, и разнузданность его нравов проистекают из стремления изгнать оттуда уранизм, необходимый для строго упорядоченного общества.

Чем быстрее я приближаюсь к смерти, тем меньше страшусь ее. Как только почувствуешь, что страх свил в тебе прочное гнездо, и художник сдается ему и ходит перед ним на цыпочках, я пересиливаю себя и встречаю его полнейшим презрением. Мне всегда казалось, что главная добродетель человека – уметь безбоязненно смотреть смерти в глаза; и становится противно и жалко, когда видишь, что очень молодые люди меньше боятся смерти, чем старые, которые если и не устали от жизни, то во всяком случае должны были бы с покорностью ожидать смерти.

«Оставьте мертвых погребать мертвецов». Религия, именующая себя христианской, меньше всего принимала во внимание эти слова Христа.

Пока я пробегаю обманчивого «Р.» М., молодая финка, рядом со мной, с карандашом в руке, читает его «А». Временами карандаш опускается на книгу; верно, она нашла в ней одну из своих собственных мыслей; одну из тех, с которыми я давно уже распрощался.

Нет, я не люблю беспорядка. Но меня приводят в отчая-

ние те, что кричат: «Спокойно!», хотя никто еще не уселся по местам.

Январь, 1931 год

С неослабным вниманием читаю Грассэ; его размышления словно продолжают книгу Зибурга «Француз ли Бог?».

Не нравится мне у Грассэ оборот: «Ни один француз не...», ибо я, француз, придерживаюсь в этом наиважнейшем вопросе совсем другого мнения. Я не верю в человеческое «постоянство», а Грассэ им аргументирует и строит на нем свою защитительную речь. Его утверждение: «Существует известный предел сознания и добра, который человек не может переступить», и «предел этот был достигнут, лишь тот человек приобрел способность мыслить», – абсурдно, и к тому же чисто по-французски (увы, приходится признаться) и по-католически абсурдно. Человек стал, а не всегда был тем, что он сейчас. Тогда как же допустить, что он таким не останется на веки веков? Человек пребывает в состоянии становления. По какому праву отнимаете вы у меня надежду на прогресс? Тот, кто не допускает, что человек стал тем, что он есть, а не вышел готовым из рук творца, не может допустить, что он когда-нибудь станет иным, что его первое слово не было в то же время и последним.

Эта вера кажется тем несокрушимей, чем она дурковатей, так сказать, простецкая. Так, в пьесе Обея Ной говорит о боге: «Как бы он, чего доброго, не рассердился. Не святой же

он, в самом деле!»». Тому же примеры у Пеги, но волнующие: в голосе его слышатся слезы.

Дочитал Курциуса. Личная часть не так значительна, как хотелось бы. Как ни превосходны его исторические очерки, жажда моя зачастую остается неутоленной: куда лучше утоляет ее книга Зибурга.

Курциус стушевается – из скрытности, конечно. Но уже и эти ретроспективные картины, столь рассудочные и поданные в должном освещении, дают повод поразмыслить.

Хочется, однако, знать, какую же часть занимает наследственное в психике француза, и не обязан ли он своими так четко выявленными Курциусом особенностями воспитанию, советам учителей, примеру соседей и т. д. Иначе говоря, не вышел ли бы он совсем другим, будучи воспитан в другой стране и не подозревая даже, что он – француз. Соображаю сейчас, насколько искусственна была, например, карьера Барреса и какой она могла бы стать, если, не ведая своего происхождения, он отдался бы природным склонностям.

Замечательная речь Валери. Восхитительной серьезности, широты, торжественности, без тени напыщенности; язык оригинален, но безличен – до того он красив и благороден. Гораздо выше всего, что пишется в наши дни.

Дочитал книгу Зибурга. Если бы даже упреки, обращенные к нам, были справедливы (а это почти так, но это «почти» узаконивает все мои надежды), все равно дилемма, которую Зибург старается нам навязать, осталась бы неприем-

лемой. Ничто в его книге не может доказать мне, что для восстановления европейского равновесия необходимо, чтобы Франция вышла в отставку. Франция обязана доказать свою способность развиваться, не отвергая при этом прошлого. Весна, купленная такою ценой, равносильна банкротству. Прошлое Франции – вот что породит ее будущее. Но как убийственно она цепка! Вспоминаются слова Валери: «Сколько людей гибнут от несчастных случаев, и все оттого, что не хотят расстаться с зонтиком!».

Франции незачем больше ни подлаживаться к чужому шагу, ни навязывать свой шаг чужим народам; сменить ногу самой, усвоить мудрость евангельского изречения: «Не вливают вино новое в мехи ветхие». Новое вино может быть и французским, – пусть даже сначала не разберут, что оно французское. Наша страна приберегает для Зибурга (и для себя самой) немало сюрпризов; ресурсы ее богаты и не разведаны. Как ни инертно наше тесто, положи чуть закваски – и оно взойдет. Не многовато ли трех образов на одну мысль? Неважно! Разовьем последний: тесто не любит закваски. Закваска ему чужда. Часто такая закваска (в литературе, понятно) создавала произведения восхитительные и несколько не терявшие при этом французского духа: итальянская закваска – Ронсара, испанская – Корнеля, английская – романтиков, немецкая – тоже... Ни одна литература, может быть, не умела так, как французская (несмотря на упреки, зачастую справедливые, будто на не разбирается, где свое, а

где чужое), обогащаться, заимствуя и сохраняя в то же время свое лицо, свои особенности. Можно даже сказать, что при всех качествах французского народа: ясности, точности, чувстве меры, законченности, – никто не нуждается так в иностранном; без притока извне он рискует смертельно измельчать (не обладай он, с другой стороны, изобретательностью, которую он обычно пускает в ход гораздо позднее других стран).

Грассэ, безусловно, прав, отвечая Зибургу, что Франция с давних пор исторически перегнала Германию, но заблуждается, считая старость преимуществом. Не понятое у нас превосходство Германии – именно в ее молодости.

Совсем недавно начала обращать внимание на молодежь и Франция. Первый признак омоложения.

Всем сердцем презираю я мудрость, ключ к которой – охлаждение или усталость.

Пусть те, кто отказывается верить в прогресс, именуют нас утопистами. Этим робким и консервативным умам казалось когда-то утопией всякое улучшение человеческой судьбы.

«Так было, – говорят они, и заключают немедленно: – так будет». Были войны, будут войны, и т. д. и т. д.

Нет дыма без огня. Отрицающим прогресс необходимо в него не верить, дабы сбересть и застраховать дорогие им идеи религии, семьи и отечества. Защищая от нас традиции, они отождествляют их с перешедшим к ним по наследству капи-

талом. Ах, как трудно человеку порвать с прошлым! Не покончить, просто – порвать. Лишь их упрямство и приверженность к прошлому могут толкнуть нас на насилие. Что мешает им допустить: прежняя опора становится помехой, человечество не может подняться на высшую ступень, не оттолкнув ногой ступеньки, на которой стояло. Но человеческой способности подняться они как раз и не допускают. Дабы установить, что человек не изменяется и не способен измениться, они предпочитают думать, что он всегда оставался таким, каков есть.

(Кювервиль)

Нигде так не размаривает, как в этом краю! Это, по-моему, больше всего способствовало медленности и трудности работы Флобера. Он думал, что борется со словами, а боролся с воздухом. Возможно, в ином климате, при возбуждающей творческую фантазию сухости атмосферы, он был бы не так требователен или добивался своего без особых усилий.

Бывают дни, когда мучительно чувствовать себя счастливым и когда лишь силком можно заставить себя им быть; даже стремление к счастью кажется мне тогда нечестивым. Слишком мало людей могут нынче его достичь. Я вспоминаю, в каком подавленном состоянии духа возвратилась из Азии М., объехав огромные пространства, где счастье, по ее словам, неведомо, невозможно...

Иные обладают достаточно мягким сердцем, но до того

лишены воображения, что не могут себе представить чужих страданий. Все далекое кажется им несуществующим; к описаниям нездешних бедствий они относятся так же, как к рассказам об ужасах прошлого. Это их не трогает. Скорее их взволнует умелый вымысел романиста: в сочувствии к воображаемым горестям есть нечто снисходительно-приятное; зрелище настоящего горя – лишняя обуза. «Ничего не поделаешь», – думают они и в бессилии помочь находят оправдание безделью. Тем самым они солидаризируются с угнетателями, с палачами, но это им и в голову не приходит. Они, очевидно, твердят себе: «Живи мы в странах, где происходят подобные ужасы, мы бы знали, на чью сторону стать». И не потому ли так волнуют меня эти рассказы, что я чувствую: а я окажусь на другой стороне. Я – оптимист, ибо я на стороне угнетенных и знаю: доведись мне разделить их страдания, мой оптимизм оттого не поколеблется. Он не подвластен насилию. Глубокий оптимизм всегда на стороне терзаемых.

Я сейчас отнюдь не «гуманней», чем в эпоху, когда мое творчество не несло в себе и следа обуревавших меня забот. Просто-напросто я запрещал им туда доступ, не видя в них ничего общего с искусством. Но кто осмелится говорить сегодня об искусстве? Лучше бросить писательствовать, но не замалчивать того, что камнем лежит у меня на сердце.

Поверять мысли дневнику, изо дня в день. Если они несколько экстравагантны (особо имею в виду написанное мною вчера), то здесь это простительней, нежели в книге, –

к слову сказать, я совсем не уверен, сумею ли сейчас написать книгу.

Написал письмо; копию сохраняю – авось формулировка пригодится:

«Милостивая государыня!

Не извиняйтесь, пожалуйста: долго ли мне было прочесть ваше очаровательное письмо! Но не надейтесь, что у меня найдется время на просмотр вашей рукописи с тем вниманием, какого она, безусловно, заслуживает. Я нашел бы, однако, время, и с большой охотой, ежели бы считал мои советы сколько-нибудь вам полезными. Сам я с давних пор убедился в полезности лишь тех советов, которые даешь себе сам. Вот вам один хороший совет – вы найдете его во фразе г-жи Севинье, которую я неоднократно напоминаю многочисленным молодым людям и особенно девицам, спрашивающим моего мнения об их литературных трудах: „Когда я слушаю только самое себя, у меня выходят чудесные вещи“.

Примите и т. д.».

Вчера вечером был у G. интересный разговор с B. и M., двумя молодыми людьми (фамилий не знаю) и C., – мы с ним вместе обедали, и я привел его к R.; собирался пробыть не больше часа, а засиделись далеко за полночь. Всего непринужденней чувствую себя с G.: он такой живой и догадливый; о чем бы ему ни говорили, обо всем он успел подумать вперед тебя. Когда тебя слишком быстро и глубоко понимают, совсем не так хочется говорить, как это кажется.

Вновь пробежал книгу Дугласа. Возвращаясь к свидетельствам первой его книги («Я и Оскар Уайльд»), он признается теперь в их вымышленности, но первую книгу, говорит он, его принудили написать, причем все лживые места написаны не им, а он только подписался, так что вышла книга под его именем, а автор ее – вовсе не он.

В новой книге – никаких уверток, все, что он ни скажет, – истина. Истинная Истина, по его выражению. Мне он, пожалуй, нравился больше, когда говорил по-другому. Так было откровенней, естественней. Какое от природы правдивое существо посмеет заговорить об «истинной Истине»?

В критическом приложении к «Клариссе» Ричардсон устанавливает, какую ничтожную роль играет в драматической поэзии (в книге он цитирует преимущественно Шекспира и Драйдена) забота о будущей жизни. «Любой из сценических героев, – замечает он, – умирает без надежды, т. е. умирает весь. Смерть в таком случае представляется ужасом, величайшим из зол».

Нет лучше отповеди С., старающемуся изобразить Шекспира христианином.

Христианский идеал... да, но идеал греко-латинский сыграл в нашей формации не менее важную роль. Удивительней всего, как старательно отождествляют эти два столь различных источника, сливая их в общее понятие «традиции». А ведь совсем немного нужно, чтобы они столкнулись друг с другом. И, несомненно, наша культура своею ценностью,

шириной своего расцвета обязана именно этой антиномии.

Сейчас от этой традиции я упорно стараюсь отмежеваться, я хочу констатировать не меньшую власть надо мной греческого идеала, чем идеала христианского. Искусство Востока учит нас, однако, что великолепие греков – лишь одна из форм, лишь одна из многочисленных форм красоты. Склад моего ума (и наследственность, конечно) делает меня мало чувствительным ко всякому проявлению человеческого благородства, если оно не умерено разумом. Обаяние греческой красоты заключается в ее разумности. Но как неосторожно давать полную волю разуму! Христианский идеал тому противится, да и греческий тоже... В наш век все должно ставить под вопрос. Прогресс человечества немислим, если оно не пытается скинуть ярмо авторитета и традиции.

Перечел единым духом «Евгению Гранде», за нее я не брался с семнадцати лет; помню, с каким восторгом глотал я тогда (дело было в Ляроке, в сарае) первого прочитанного мною Бальзака! Ведь, по-моему, не из лучших и не заслуживает своей громкой славы. Стиль весьма и весьма посредственный, характеры общи донельзя, диалоги условны, а то и просто неприемлемы или механически мотивированы характерами; одна только история спекуляций старика Гранде кажется мне сделанной мастерски, да и то потому, быть может, что я в этом деле некомпетентен. В целом – некоторое недоумение, от которого возрадовался бы Роже Мартэн дю Гар, автор романа «Старая Франция», но, повторяю я себе, у

Бальзака следует восхищаться «Человеческой комедией», а не тем или иным романом в отдельности. Есть у него, впрочем, романы восхитительные сами по себе. «Евгения» – не из их числа.

Два дня как вернулся в Париж. В Вансе, в Грасе, в Сен-Клере плохо работалось. Мозг работает вхолостую, плодя тоску, отвращение, скуку; зов весны не встречает отклика в моем сердце. Изменник самому себе и своим житейским правилам, я тягочусь беспредельной, никчемной свободой. Ухвачусь за любое занятие, лишь бы оно принуждало. Гораздо счастливей себя чувствуешь, будучи к чему-то обязан. Без дисциплины мне не удастся взять себя в руки. Вот где торжествует религиозная обрядность. Мыслящее существо, не имеющее иной цели, кроме себя, поражено отвратительной опустошенностью. Путешествие лишь одуряет. В моем возрасте я вправе ждать от себя лучшего. Но у меня ничего не выходит: я разучился требовать.

«Какое удовольствие играть, когда все до одного противники – шулера», – сказал юный Эммануэль Фей незадолго до самоубийства. Его слова вторят всем моим мыслям назойливым, оглушительным басом. Растущее самонедоверие. Дойду до того, что не хватит духу больше писать.

Обутая в атласные туфли Испания поджигает монастыри с такой свирепостью, какая и не снилась родине Вольтера. Испании не занимать стать подобных примеров, возмездие это уготовано со времен инквизиции. Да и ни к чему заби-

раться так далеко! Но не вижу, увы, в этой ярости знака настоящего освобождения. В ней есть нечто спазматическое и, возможно, преходящее.

Пусть возмущающиеся жестокостями скажут, может ли цыпленок вылупиться из яйца, не разбив скорлупы.

Но особенно хотелось бы мне пожить подольше, чтобы увидеть, как увенчался успехом русский план и как склоняются перед ним государства Европы, упорствовавшие в его непризнании. Как могла перестройка столь новая и столь всеобъемлющая осуществиться без периода глубокой дезорганизации? Никогда еще не смотрел я в будущее с таким жадным любопытством. От всего сердца приветствую я эту попытку, столь гигантскую и в то же время столь человеческую. В ее успехе всего охотней сомневаются верующие, те, кто гонит прочь всякое сомнение, коль скоро оно задевает их религиозные убеждения. Они не допускают веры, которая настолько отличается от их мистической веры, что восстает на нее. Перед свершившимся чудом, чудом единственным и реальным (самое слово «чудо» кажется здесь обмолвкой) они корчат скептиков, а ведь первое условие осуществления этого плана – беззаветно верить, что он осуществится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.